

ОГЛАВЛЕНИЕ

· ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ·

ОСУЖДЕННЫЕ НА СМЕРТЬ

Бытовое явление. Заметки публициста о смертной казни	10
Глава I. 12 мая 1906 года	10
Глава II. Смертники в N-ской тюрьме	18
Глава III. Будни смертников	21
Глава IV. Иллюзии и самоубийства	26
Глава V. Последние свидания	31
Глава VI. «Автобиография»	36
Глава VII. Экспроприаторы	44
Глава VIII. «Приговор утвержден»	53
Глава IX. Как это делается?	63
Заключение	74

· ЧАСТЬ ВТОРАЯ ·

ВОЕННОЕ ПРАВОСУДИЕ

Черты военного правосудия	80
Глава I. Вместо вступления. Дело Юсупова	82
Глава II. Дело Глускера	89
Глава III. Подсудимый Маньковский и судья Канабеев	108
Глава IV. Логика военного правосудия	118
Глава V. «Отрадные факты»	129
Глава VI. В Одесском военно-окружном суде	138
Глава VII. О том же	146
Глава VIII. «Обрадованные» русские люди	149
Глава IX. Что спасало невинных от казни?	156
Глава X. Под вопросом	161
Глава XI. «Необрадованные»	165
Глава XII. Виновные	176
Глава XIII. Заключение	181

Истязательская оргия*	188
Честь мундира и нравы военной среды	194
Два убийства	194
«Тень Сморгунера»	200
Продолжение дела ген. Ковалева и д-ра Забусова	207
Новая «ковалевщина» в Костроме	210
Еще о деле генерала Ковалева.	213
Трагедия Ковалева и взгляды военной среды	222
Кто виноват?	244

· ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ·

В СУДЕ

Мултанское жертвоприношение	268
Письмо в редакцию	269
Мултанское жертвоприношение	277
Приносятся ли вотьяками человеческие жертвы?	309
Толки печати о мултанском деле	316
«Они судили мултанцев...»	324
Сорочинская трагедия.	326
Предисловие	327
Глава I. Сорочинцы и Устивица	329
Глава II. Кривая Руда. Эпидемия насилий	336
Глава III. Открытое письмо статскому советнику Филонову	342
Глава IV. Чего я добивался своим открытым письмом	357
Глава V. Слабые проблески	363
Глава VI. Убийство Филонова и его обстановка	367
Глава VII. «Посмертное письмо ст. сов. Филонова писателю Короленко»	371
Глава VIII. Ответ клеветникам	379
Заключение	383
Дело Бейлиса	386
На Лукьяновке (во время дела Бейлиса).	387
Господа присяжные заседатели. Часть первая.	401
Господа присяжные заседатели. Часть вторая.	405
Присяжные ответили...	408

· ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ·

ОСУЖДЕННЫЕ НА СМЕРТЬ

В первые серия очерков, посвященных смертной казни, была опубликована в журнале «Русское богатство» за 1910 год. Спустя несколько месяцев очерки были опубликованы отдельным изданием.

В 1918 г. В. Короленко внес в статью дополнения и исправления. Документы и материалы о смертной казни, использованные в статье, Короленко собирал с 1899 г.

Прочитав первую половину статьи, Л. Н. Толстой писал автору цикла очерков:

- Короленко.
- 27 марта 10 года.
- Ясная Поляна.
-
- Владимир Галактионович,
- Сейчас прослушал вашу статью
- о смертной казни и всячески во время
- чтения старался, но не мог удержать не
- слезы, а рыдания. Не нахожу слов, чтобы
- выразить вам мою благодарность и лю-

• бовь за эту и по выражению, и по мысли, и главное, по чувству
• превосходную статью.

• Ее надо перепечатать и распространять в миллионах экземпляров. Никакие думские речи, никакие трактаты, никакие драмы, романы не произведут одной тысячной того благотворного действия, какое должна произвести эта статья.

• Она должна произвести это действие — потому что вызывает такое чувство сострадания к тому, что переживали и переживают эти жертвы людского безумия, что невольно прощаешь им, какие бы ни были их дела, и никак не можешь, как ни хочется этого, простить виновников этих ужасов. Рядом с этим чувством вызывает ваша статья еще и недоумение перед самоуверенной слепотой людей, совершающих эти ужасные дела, перед бесцельностью их, так как ясно, что все эти глупо-жестокое дела производят, как вы прекрасно показываете это, обратное предполагаемой цели действие; кроме всех этих чувств, статья ваша не может не вызвать и еще другого чувства, которое я испытываю в высшей степени, — чувства жалости не к одним убитым, а еще и к тем обманутым, простым, развращаемым людям: сторожам, тюремщикам, палачам, солдатам, которые совершают эти ужасы, не понимая того, что делают.

• Радует одно то, что такая статья, как ваша, объединяет многих и многих живых неразвращенных людей одним общим всем идеалом добра и правды, который, что бы ни делали враги его, разгорается все ярче и ярче.

Лев Толстой

БЫТОВОЕ ЯВЛЕНИЕ.
ЗАМЕТКИ ПУБЛИЦИСТА
О СМЕРТНОЙ КАЗНИ



Глава I

12 МАЯ 1906 ГОДА

Н и одно из заседаний всех трех Государственных дум не оставило во мне такого глубокого впечатления, как заседание 12 мая 1906 года.

Прошло полгода со дня знаменитого манифеста. Позади осталась ужасная война, Цусима, московское восстание, кровавый вихрь карательных экспедиций. Двадцать седьмого апреля открылась первая Государственная дума; она должна была отметить грань русской жизни, стать в качестве посредника между ее прошлым и будущим. В ответном адресе на тронную речь Дума почти единогласно высказалась против смертной казни.

Это было последовательно. Во всеподданнейшем докладе гр. Витте, приложенном к манифесту, признавалось открыто и ясно, что беспорядки, потрясавшие в это время Россию, «не могут быть объяснены ни ча-

стичными несовершенствами существующего строя, ни одной только организованной деятельностью крайних партий». «Корни этих волнений, — говорил глава обновляемого правительства, — лежат, несомненно, глубже». И именно в том, что «Россия пережила формы существующего строя» и «стремится к строю правовому на основе гражданской свободы». «Положение дела, — говорилось далее в той же записке, — требует от власти приемов, свидетельствующих об искренности и прямоте ея намерений». На докладе, в котором были эти слова, государь император написал: «Принять к руководству всеподданнейший доклад ст. секретаря С.Ю. Витте».

Такова была компетентная оценка положения, среди которого созывалась первая Дума. Исторический строй, признанный свыше отсталым и не удовлетворяющим назревшим потребностям современной русской жизни, открыто брал на себя свою долю ответственности за волнения и смуту, охватившие Россию. Ни «организованные партии», ни общество не были повинны в политической отсталости России. Вина в этом падала на единственных хозяев и бесконтрольных распорядителей. Первая Дума сделала из этого вывод: оставьте же старые приемы борьбы, смягчите кары за общую вину всей русской жизни. Это и будет доказательство той искренности и прямоты намерений, о которых вы говорите.

.....

Казалось, историческая власть стоит в раздумье перед новой задачей. «С 27 апреля, — говорил в одной из своих речей депутат Кузьмин-Караваев, — ни один смертный приговор не получил утверждения. Напротив, постоянно приходилось читать, что приговор смягчен и наказание заменено другим...»¹ В течение двух недель виселица бездействовала, палачи на всем пространстве

¹ Стенография, отчет о заседании Госуд. думы 18 мая 1906 г.

России отдыхали от своей ужасной работы. Среди этого затишья историческая Россия встречалась с Россией будущей, и обе измеряли друг друга тревожными, пытливыми, ожидающими взглядами.

Двенадцатого мая получилось известие, что виселица опять принимается за работу. Раздумье кончилось.

В Думе происходило обсуждение кадетского законопроекта о неприкосновенности личности. У проекта были, конечно, свои недостатки. На него нападали с разных сторон: для одних он был почти утопичен, для других — слишком умерен. Теперь едва ли можно сомневаться, что, будь он действительно осуществлен хоть в значительной части, Россия вздохнула бы, точно после мучительного кошмара. Весь вопрос состоял в том, может ли Дума осуществить что бы то ни было или все ее пожелания останутся красивыми отвлеченностями. Призвана ли она для реальной работы, или ей суждено представить из себя законодательную фабрику на всем ходу, с вертящимися маховиками и валами, но только без приводных ремней к реальной жизни.

Случай для ответа на этот вопрос скоро представился, и притом в самой трагической форме. Обсуждение законопроекта о неприкосновенности личности было прервано спешным запросом трудящихся: известно ли главе министерства, что в Риге готовится сразу восемь смертных казней?

Еще 11 декабря 1905 года, в разгар преддумских беспорядков, восстаний, усмирений и карательных экспедиций, в Риге был убит пристав Поржизский. Как известно, в Остзейском крае вообще, в Риге в частности, кризис, вызванный переломом застоявшейся русской жизни, проявлялся особенно резко. С одной стороны, ужасающие газетные известия о пыточных застенках и приемах полицейских репрессий, с другой — убийства сыщиков и агентов

власти. Здесь более чем где бы то ни было нужно было внимательное отношение к двусторонним проявлениям общей вины и общей ответственности. Искренность, о которой говорил С. Ю. Витте, несомненно, требовала передачи дела общему суду при обоюдных гарантиях. Притом же этого требовал и формальный закон.

Убийство было совершено 11 декабря. Усиленная охрана заменена военным положением 24 декабря. Предание суду состоялось 15 апреля. Случилось так, что формально был промежуток, когда в Риге перестала действовать усиленная охрана, а военное положение еще не вошло в силу. Поэтому военный генерал-губернатор при изъятии дела из общей подсудности вынужден был мотивировать это «усиленной охраной», которая в то время уже не действовала. Это было незаконно: главный военный суд уже кассировал такой же приговор по делу Иогансона и Зегала, передав дело гражданскому суду.

Еще недавно министр юстиции на обращение депутатов по поводу казней забронировался формальной законностью: пока смертная казнь не отменена, она действует в законном порядке. Теперь такой же формальный закон защищал восемь жизней. Стоило только применить его, дело было бы рассмотрено общим судом и восемь рижских виселиц остались бы праздными.

Тем не менее явно незаконный военный суд состоялся и вынес восемь смертных приговоров.

Защитники подали кассационные жалобы, исход которых не мог возбуждать сомнения. Тогда генерал-губернатор собственной властью не дал хода кассации.

Общее значение этого эпизода было совершенно ясно. Раздумье кончалось. Исполнительная власть отстраняла общесудебные гарантии и даже на место гарантий военно-судных выдвигала личное усмотрение рижского администратора. Иначе сказать: администрация опять выступала судьей в собственном деле и на основании этого суда, глубоко чуждого самому духу новых учреждений, уже готовила казни.

На этой своеобразно «легальной» почве, около этих восьми жизней, закипела бескровная, но полная глубокого драматизма борьба новой Думы со старой исторической властью. Были пущены в ход заявления, ходатайства, просьбы.

Апеллировали к человеколюбию, к великодушию, к справедливости, к простой формальной законности. Защита подала жалобу в сенат на приостановку кассации и в то же время обратилась с ходатайством на высочайшее имя. Думе, в целом, оставалось только принять запрос. Шестьдесят шесть ее членов подписали отдельное личное ходатайство...

Двенадцатого мая я сидел в ложе журналистов и запомнил навсегда сумеречный час этого дня, предъявление запроса, речи депутатов, смущенные, полные предчувствий. Среди водворявшейся временами глубокой тишины как будто чуялось веяние смерти и невидимый полет решающей исторической минуты. Это была своего рода мертвая точка: вопрос состоял в том, в какую сторону двинется с нее русская политическая жизнь, куда переместится центр ее тяжести. Вперед, к началам гуманности и обновления, или назад, к старым приемам произвола, не считающегося даже со своими собственными законами...

К трибуне подошел В.Д. Кузьмин-Караваев. Речь его была простая, короткая, без громких слов. Раздалось несколько нерешительных рукоплесканий и тотчас смолкло. Председатель поставил на баллотировку предложение: препроводить запрос к председателю совета министров немедленно, без соблюдения обычных формаль-

ностей, с указанием на необходимость приостановки исполнения приговора до решения вопроса о кассации, до ответа на ходатайства..

— Кто возражает против предложения, — говорит председатель, — прошу встать.

Не поднялся никто.

В первой Думе тоже были принципиальные защитники смертной казни, и еще недавно высказался в этом смысле екатеринославский депутат Способный. Но еще не было откровенной кровожадности нынешних «правых», требующих виселиц даже для своих думских противников. Решение принято единогласно. Кто не хотел видеть в этом простой справедливости, те чувствовали все-таки святость милосердия и останавливались перед ужасом восьми казней..

И помню, что тотчас по объявлении этого постановления, когда Дума перешла опять к законопроекту «О неприкосновенности», зажгли электричество. Свет залил весь думский зал, председательскую трибуну, фигуру докладчика на кафедре, амфитеатр думских скамей с фигурами депутатов.. И у меня было такое ощущение, как будто тут, в зале, есть еще что-то невидимое, но жутко ощутительное, почти мистическое. Может быть, это была неуверенность в спасении восьми жизней, а за ней и во многом другом, что роковым образом сплелось с судьбой этих безвестных восьми людей в Риге.. «Дума сделала все, что могла. Но она не сделала ничего», — кажется, так следует истолковать это странное ощущение. Здесь могут только негодовать, надеяться, скорбеть и высказывать пожелания. А там могут вешать..

Прошло шесть дней. Восемнадцатого мая на трибуну взошел докладчик Набоков, чтобы сообщить ответ председателя совета министров на думский запрос. Ответ был краток и формален. Сущность его, впрочем, была уже известна из газет: рижский генерал-губернатор не пожелал ожидать исхода жалоб на приговор

заведомо незаконного суда и распорядился 16 мая спешно казнить всех восемь приговоренных..¹

Смысл сообщения был ощутительно ясен; на соображения о законности отвечали заявлением о силе. В Думе полились речи, полные негодования и горечи. «В ответ на наш запрос, — сказал депутат Ледницкий, — нам кинули восемь трупов». «Некоторые из них малолетние», — прибавляет депутат Локоть. Кузьмин-Караваев оглашает звучащую горькой иронией телеграмму Леруа-Болье. Просвещенный француз, знаток и друг России, поздравляет Думу с предстоящей отменой смертной казни. «Этим русский парламент совершит акт милосердия и ускорит прогрессивное развитие человечества». Депутат Родичев еще пытается протестовать против «маловерия», которое темной волной хлынуло в Таврический дворец от этой мрачной генерал-губернаторской демонстрации.

«Вы напишете закон об отмене смертной казни, — утешает он депутатов, — его утвердят, его не могут не утвердить. Неужели вы сомневаетесь, что смертная казнь уже корчится в предсмертных судорогах?»

Увы! Самые оптимистические каламбуры бессильны перед фактом. А факт состоял в том, что против потока превосходных слов и проектов рижский генерал-губернатор, разумеется в полном согласии с правительством, выдвинул восемь виселиц. Это было так убедительно, что через десять дней в той же думской зале тот же депутат Родичев говорил с горьким унынием: «Если мы и признаем обсуждаемую статью (об отмене смертной казни) за закон, в чем же изменится положение дела? Вы убеждены, что этот параграф станет законом и казни прекратятся?.. Но, господа, каждый из нас понимает, что это не так..».

¹ «Наша жизнь», 17 мая 1906 г., № 447.

И действительно, это оказалось не так. Кто теперь вспоминает на Руси, что в заседании 19 июня 1906 года в первую Государственную думу внесен законопроект, состоявший из двух статей:

.....

Статья первая: смертная казнь отменяется.

Статья вторая: во всех случаях, в которых действующими законами установлена смертная казнь, она заменяется непосредственно следующим по тяжести наказанием...

.....

И что этот законопроект Государственной думой принят... И что он облечен в форму закона... Новый закон унесен потоком событий, смывших первую Думу, а факт остался. Виселица опять принялась за работу, и еще никогда, быть может со времени Грозного, Россия не видала такого количества смертных казней. До своего «обновления» старая Россия знала хронические голодовки и повальные болезни. Теперь к этим привычным явлениям наша своеобразная конституция прибавила новое. Среди обычных рубрик смертности (от голода, тифа, дифтерита, скарлатины, холеры, чумы) нужно отвести место новой графе: «от виселицы». Почти ежедневно, в предутренние часы, когда над огромной страной царит крепкий сон, где-нибудь по тюремным коридорам зловеще стучат шаги, кого-нибудь поднимают от кошмарного забытья и ведут, здорового и полного сил, к готовой могиле...

Да, как не признать, что русская история идет самобытными и необъяснимыми путями! Всюду на свете введение конституций сопровождалось хотя бы временными облегчениями: амнистиями, смягчением репрессий. Только у нас вместе с конституцией вошла смертная казнь, как хозяйка, в дом русского правосудия. Вошла

и расположилась прочно, надолго, как настоящее бытовое явление, затяжное, повальное, хроническое...

В последующих очерках, далеко не систематических и не претендующих на исчерпывающее значение, мы постараемся присмотреться к этому новому бытовому явлению... Нужно же знать то, от чего пока (и, может быть, надолго) нет силы избавиться...

Глава II

СМЕРТНИКИ В N-СКОЙ ТЮРЬМЕ

До сих пор быт русских тюрем знал определенные категории заключенных. Это были «высидочные», отбывавшие срочное заключение по суду, подследственные, пересыльные и каторжане.

«Обновление» принесло еще новую категорию, которой тюремный жаргон присвоил зловещее название: «смертники».

Интеллигентный человек, закинутый превратной судьбой в одну из провинциальных тюрем (называть которую он не желает), имел случай наблюдать, хоть не систематически и отрывочно, быт этих людей, ждущих в заключении смертного приговора, конфирмации, казни. Материал, добытый таким образом из случайных встреч, разговоров, урывками и секретно пересылавшихся писем, он предоставил в наше распоряжение, и я хочу познакомить с ним читателя.

Губернская тюрьма провинциального города. Архитектура обыкновенная. По углам главного корпуса четыре башни. Ход в каждую башню из тюремных коридоров, на которые смотрят в два ряда молчаливые глазки камер. В конце коридора крепко запертая дверь, ключ от которой хранится у особых надзирателей. Один из них постоянно караулит вход в башню. За этим входом небольшой темный коридор, ведущий еще к одной двери. За нею круглая башенная камера.

Камера представляет цилиндр, аршин трех или четырех в диаметре. Вверху небольшое окно, забранное двумя решетками. Решетки скрадывают свет, а зимой, когда вставляются двойные рамы, в камере становится так темно, что даже днем читать или писать становится невозможно.

Вечером вспыхивает электрическая лампочка, подвешенная к потолку. Она подвешена высоко, и, даже стоя под нею, читать можно лишь с большим напряжением. Ни коек, ни нар в камере нет. Маленький столик и два-три табурета уносятся на ночь. Спать приходится прямо на полу. Стены вверху бледно-серые. Внизу, аршина на два от пола, идет траурная черная полоса.

Камеры верхнего этажа каждой башни лучше. Они суше, светлее; из окон можно видеть город, площадь за тюрьмой, проходящих по площади людей. Нижние камеры врыты глубоко в землю, так что их полукруглые окна помещаются на уровне тюремного двора. Люди тут как будто опущены в колодец, траурно-темный, холодный и сырой. Из окон они могут видеть ноги гуляющих по двору арестантов. Против каждой башни стоит надзиратель с ружьем.

Тут помещаются смертники.

В том году, к которому относятся наблюдения нашего случайного корреспондента, их перебивало свыше сорока. Это были все сравнительно молодые люди, преимущественно рабочие местного крупного железоделательного завода, осужденные по делам об экс-проприациях.

Тюремная администрация употребляет все усилия, чтобы изолировать их от остальных заключенных.

Для прогулки смертников отведено особое место. В баню их тоже водят отдельно. Но, разумеется, полная изоляция невозможна.

На допросы, в суд, на прогулку или на свидания их проводят все-таки общими коридорами, и арестанты смотрят в глазки на этих обреченных, уже отмеченных печатью смерти людей. Теми же коридорами ведут их в темные предутренние часы на казнь, и тогда спящие в камерах арестанты тревожно вскакивают, слушая гулкие шаги, порой стоны и предсмертные крики человека, прощающегося таким образом с доступным ему и сочувствующим арестантским миром. Потом шаги и жалобные крики смолкают. В глубокой тишине на заднем дворе совершается последнее действие страшной трагедии... В камерах не спят и гадают, кого это повели только что к открытой могиле...

Порой в часы прогулок гуляющие арестанты слышат откуда-то, точно из-под земли, голоса, громко разговаривающие или спорящие. Порой, особенно в первой половине того года, к которому относится наш материал, из смертных камер раздавалось пение. Тогда стоящий у башни караульный начинал волноваться, стучал ружьем и кричал:

— Башня, перестань петь! Башня! Тебе говорят: перестань!

Если это заклинание не действовало, на сцену являлся помощник начальника и кого-нибудь из людей, ждущих казни, вдобавок сажали в карцер...

Карцер — темная коробка, помещающаяся прямо под тюремною церковью, низкая, сырая, холодная, с отвратительным воздухом. Многих после трех-четырех дней заключения из карцера выносили на рогожах прямо в больницу.

В башнях порой в одиночку, иногда группами люди ждут приговоров или их исполнения... Ждут дни, недели, иногда месяцы,

каждый вечер спрашивая себя, увидят ли они завтрашнее утро. В прежнее, еще недавнее, «доконституционное» время один военный судья говорил мне, что продолжительная отсрочка казни являлась огромным шансом за ее отмену: нельзя казнить человека, пережившего такой продолжительный ужас, хуже самой смерти. Теперь этими психологическими тонкостями не стесняются...

Глава III

Будни СМЕРТНИКОВ

Всем еще памятно то одушевление, с которым шли на смерть приговоренные к казни или расстреливаемые без суда в первом периоде нашей «революции». Так умирали интеллигентные люди, молодые девушки, железнодорожные рабочие, матросы. Группа матросов, восставших вместе с лейтенантом Шмидтом, шла на казнь дружным строем и пела известную народную рекрутскую песню:

Последний радостный денечек
Гуляю с вами я, друзья!
А завтра рано чуть светочек
Заплачет вся моя семья...

В этом зрелище было столько одушевления и веры в значение жизни перед лицом неизбежной смерти, что, говорят, эта песня на юге приобрела значение «Марсельезы».

Теперь многое изменилось, и по мере того как смертная казнь превратилась в будничное бытовое явление, от нее удаляется и обволакивавшее ее прежде одушевление. Должно быть, труднее умирать за то, за что люди так часто умирают в наше время.

Впрочем, наш корреспондент отмечает, что в первые дни после приговора многие смертники чувствуют себя сравнительно бодро. В свои мрачные башенные камеры они вносят еще возбуждение не-

давней борьбы, полной если не возвышенных, то сильных ощущений и крайнего напряжения нервов. Суд и приговор — только последний размах той же волны. В большинстве писем, относящихся к первым дням после приговора, звучит еще своеобразная бодрость, даже ирония. Иные из этих писем чрезвычайно характерны, и мы приведем их в тех отрывках, какие дает нам наш корреспондент.

.....

«Я напишу вам, — так начинается одно письмо, — но предупреждаю, что я человек малограмотный, неразвитой и малоначитанный. Я чувствую себя очень хорошо. Смерть для меня ничто. Я знал, что это рано или поздно, но должно быть. Я был уверен на воле, что меня повесят или застрелят где-нибудь на деле. Так вот, товарищ, может ли мне казаться страшной смерть? Да, конечно, ничуть. Я не знаю, как другие, но до суда и после суда я был в одном настроении. Только обидно: со мной приговорили одного невиновного. Я в суде не утерпел и крикнул судьям...¹ За это мне попало от „сознательно-го конвоя“...»

.....

Еще через некоторое время тот же автор писал: «Вы спрашиваете, как я провожу время. Определить трудно. Я сам себя не могу учесть в этом случае. Одно могу сказать, что душевно я спокоен. Очень даже спокоен. Наружный вид, можно сказать, веселый. С утра до ночи смеемся, рассказываем различные анекдоты, конечно юмористические. Конечно, вопрос о жизни приходит иногда в голову. Задумаешься на несколько минут и стараешься забыть это все потому, что все уже кончено для меня на сей земле. А раз кон-

¹ Многоточие в присланной нам рукописи.

чено, то такие мысли стараешься отогнать и не поднимать в своей голове. Я вижу, что времени для жизни осталось очень мало, и в такие короткие минуты ничего не могу разрешить. Чем понапрасну ломать голову, лучше все это забыть и последнее время провести веселее. Я сам себя не могу определить: я как будто ненормальный. Иногда хочется отравиться. Отравиться тогда, когда мне этого захочется. Уж очень не хочется идти помирать на задний двор, да еще в сырую погоду, в дождик. Пока дойдешь, всего измочит. А мокрому и висеть не особенно удобно. Да еще и то: берут ночью. Только разоспишься, а тут будят, тревожат... Лучше бы отравиться...»

Читатель видит, что здесь у человека еще хватает настроения для какого-то жуткого юмора над своей страшной судьбой... «Измокнешь, а мокрому и висеть неудобно... Только что разоспишься, а тут — тревожат...»

.....

«Чувствую себя ничего, — пишет другой приговоренный. — Даже удивлен, что в душе не сделалось никакого переворота. Точно ничего не случилось...»

.....

По-видимому, жизнь обладает своей инерцией движения, и человек еще органически не может себе представить, что она скоро оборвется без внутренних, органических причин. Он знает о приговоре, но еще не может его почувствовать...

Поддержать в себе возможно дольше, до самой смерти, это настроение продолжающейся жизни, не дать ужасной истине пустить в душу отравляющие ростки — такова теперь задача, к которой приспособляется весь быт своеобразного общества, населяющего мрачные камеры. «Забыть и дать забыть другим» — это как будто правило его социальной нравственности.

«Спать ложимся мы в три часа ночи, — пишет один приговоренный. — Это постоянно. Р. научил нас играть в преферанс, и мы до того им увлеклись, что играем, как будто бы за интерес. Увлеклись сильно. Тут есть и сожаление от проигрыша, и маленькие радости от выигрыша. Упадка духа ни в ком как будто и не замечается. Если посмотреть со стороны и не знать, что мы приговорены к смерти, то можно счесть нас просто за людей, отбывающих наказание. Если же наблюдать нас, зная, что нас ждет смерть, то, вероятно, можно подумать, что мы ненормальны. Действительно, и самому приходится удивляться тому, что мы так хладнокровны. По одной фразе вашей я заметил, что предполагается у нас тяжелое настроение духа. Представьте себе, что нет. Даже, напротив, бывает неестественно веселое настроение. Часто смех, шутки, песни и рассказы не сходят у нас с уст. О том, что ждет нас, буквально забываешь. Это, по моему мнению, происходит оттого, что сидишь не один.. Чуть кто пригорюнится, так другой старается, может быть ненамеренно, оторвать его от тяжелых мыслей и вовлечь в разговор или во что-нибудь другое.. Находят минуты какой-то беспричинной злобы, хочется кому-нибудь сделать зло, какую-нибудь пакость. Насколько я наблюдал, если такому человеку поволноваться и вылить свою злобу в руготне, то он понемногу успокоится. На некоторых в такие моменты действует пение. Затяни что-нибудь — он поддержит».

В такие-то минуты из наглухо закрытых башен несутся звуки песен, и стража во дворе начинает тревожиться, стучать ружьями и кричать: «Башня, тебе говорят, замолчи!» Но заставить замолкнуть такую песню, конечно, нелегко..

.....

«Теперешнее мое состояние удовлетворительно, — читаем мы еще в одном письме „из башни“, — только в голове какой-то хаос. Хотелось бы на день, на два остаться одному с самим собою; но это невозможно.

Жаль погибающую молодость! К тому, что скоро придется умирать, отношусь не то чтобы хладнокровно, но все-таки эта мысль не смущает меня: я не вдумываюсь в нее. Чем объяснить это — я не знаю!»

Автору этого письма хотелось бы остаться одному; но именно одиночество в этом положении ужасно. «Как начинает лезть что-нибудь в голову, — пишет другой смертник, — так я тотчас же отвлекаю себя разговорами с товарищами, лишь бы только это удалить. А то, как только почувствую, что могу заснуть, стараюсь лечь спать. Мне кажется, что если бы я... сидел один, то давным-давно покончил бы с собою».

По мере того как идет время, спокойствие тоже уходит. «Жизнь приходится считать минутами, она коротка, — пишет один из приговоренных, по-видимому проводящий последние дни в одиночестве. — Сейчас пишу эту записку и боюсь, что вот-вот растворятся двери и я не dokonчу. Как скверно я чувствую себя в этой зловещей тишине! Чуть слышный шорох заставляет тревожно биться мое сердце... Скрипнет дверь... Но это внизу. И я снова начинаю писать. В коридоре послышались шаги, и я бегу к дверям. Нет, снова напрасная тревога: это шаги надзирателя. Страшная мертвая тишина давит меня. Мне душно. Моя голова налита как свинцом и бес- сильно падает на подушку. А записку все-таки закончить надо. О чем я хотел писать тебе? Да, о жизни! Не правда ли, смешно говорить о ней, когда тут, рядом с тобой, смерть. Да, она недалеко от меня. Я чувствую на себе ее холодное дыхание, ее страшный призрак неотступно стоит в моих глазах... Встанешь утром и, как ребенок, радуешься тому, что ты еще жив, что еще целый день предстоит наслаждаться жизнью. Но зато ночь! Сколько она приносит мучений — трудно передать... Ну, пора кончить: около двух часов ночи. Можно заснуть и быть спокойным: за мной уже сегодня не придут».

.....

«Я давно не писал вам, — говорится в новом письме (другого лица). — Все фантазировал, но ничего не мог сообразить своим больным мозгом. Я в настоящее время нахожусь в полном неведении, и это страшно мучает меня. Я приговорен вот уже два месяца, и вот все не вешают. Зачем берегут меня? Может быть, издеваются надо мной? Может быть, хотят, чтобы я мучился каждую ночь в ожидании смерти? Да, товарищ, я не нахожу слова, я не в силах передать на бумаге, как я мучаюсь ночами! Что-нибудь скорей бы!»

.....

Это писал тот самый человек, который вначале удивлялся, что приговор не произвел на него впечатления, и говорил, что смерть его нисколько не пугает... Два его письма — это два полюса в настроении смертников: вначале возбуждение и бодрость, потом возрастающий ужас перед развязкой, тупой и безмолвной.

Глава IV

ИЛЛЮЗИИ И САМОУБИЙСТВА

Впрочем, в промежутках часто являются мечта и надежда.

.....

«У каждого, — говорит один из авторов писем, — есть какая-нибудь надежда, и у каждого фантазия доходит до геркулесовых столбов. Хотя мы и знаем, что каждого из наших товарищей берут и вешают, но все-таки (собственная) предстоящая казнь кажется невероятной. Кажется невероятным: как это меня, здорового, полного

сил человека, поведут и повесят... У каждого есть розовая надежда на что-то, чуть не на чудо. Некоторые ждут помилования. Другие мечтают о подаче прошения на высочайшее имя и думают как-нибудь провести административную. Говорим иногда об усыпительных веществах. Как бы уснуть так, чтобы когда похоронят, то пришли бы товарищи и откопали бы из могилы. Мечтали о сделке с доктором во время смертной казни» и т. д.

Но и надежда в положении смертника, как гашиш, обманчива и ядовита. «Я думаю, — пишет один из них, — что для нас вредны мечты в большом размере, так как чересчур тяжки разочарования. Для примера приведу Х-ва. Он вполне был уверен, что ему отменят смертный приговор, так как об этом хлопотал сам суд, да и дядя его имел большие связи. Когда пришли ночью и сказали, что пришло помилование, то он поверил этому и с радостью пошел в контору. Что же ему пришлось пережить, когда вместо помилования его потащили на виселицу?.. Мне могут сказать, что все это неважно, так как страданий здесь всего ведь на час, да и то, быть может, меньше. Но я не хочу месяца иллюзий, чтобы пережить и час таких страданий. Лучше я буду внушать себе, что мне скоро придется умереть. Я не скрою, что и я тоже мечтаю и строю иллюзии, но только я не позволяю мечте вкорениться глубоко. Против мечты о воле, о том, как хорошо было бы очутиться в кругу близких людей, против этой мечты я принимаю свои меры.

Теперь приведу другой пример — П-на. У него совершенно не должно было быть никаких надежд. Но вот почему-то одних берут, а его, хотя и вышел срок, оставляют. У него являются надежды. И вот он, который раньше соглашался умереть с большими страданиями, чем от доставленного ему яда, теперь уже не решается (отравиться) и ждет последней минуты. Яд он принимает только

тогда, когда пришли и сказали: „Собирайся на виселицу“. От яда он падает без чувств. Его выносят на тюфяке на свежий воздух и качают... Он приходит в себя. Под воротами его рвет. Он приходит потом в контору, пишет письма и идет на виселицу».

«И таких примеров много, — прибавляет автор письма. — Это все последствия иллюзий...» П-в ждал решения своей участи без двух дней пять месяцев! И «хотя, по-видимому, у него были хорошие, благодаря иллюзиям, минуты, но в конце концов тройные мучения... Каждый из нас хватается за соломинку, и тогда логика и рассудок — все летит к черту».

Удалось ли в конце концов писавшему вышеприведенные строки удержаться в пределах «логики и рассудка» — мы не знаем. Но те, кто пассивно поддается иллюзиям, легко превращаются в маньяков. «Из всех приговоренных к смертной казни, — говорится в одном письме, — такого, как NN, я вижу впервые. Он хотя и не говорит, но, видимо, ему жаль порвать с жизнью. Он все ждет помилования. Прощения он не подавал, но подала его мать от своего имени. Теперь он постоянно гадает на картах, будет или не будет он помилован. Он отказался покончить с собой. Если бы я захотел описать его последние дни, то едва ли мог бы многое описать. Жизнь его течет чрезвычайно однообразно и монотонно. Вечером он ложится спать часов в шесть, а встает в два, три, четыре часа. И как только встает, так берется за карты и начинает гадать. Днем иногда ляжет полежать и на мой вопрос: „О чем вы думаете?“ — обыкновенно отвечает: „Я и сам не знаю о чем“. Почти все время проводит он за картами и в какой-то меланхолической мечте. Может быть, он мечтает о чем-нибудь ценном, но только не желает с нами этим поделиться. Не знаю».

Автор заметок, которыми мы пользуемся при составлении этого очерка, пишет, что ему удавалось по временам видеть NN, о котором идет речь в предыдущем письме.

«Это еще молодой человек, лет двадцати, с продолговатым лицом и голубыми, чем-то затуманенными и как будто ничего не видящими глазами. В серой, плотно облегавшей его фигуру арестантской куртке шел он медленно со своим провожатым на прогулку и устало и равнодушно смотрел куда-то вдоль длинного коридора. Больше всего привлекали внимание его смертельно усталые, рассеянные, ничего не видящие глаза».

В то время, когда автор записывал в тюрьме свои впечатления, ему уже редко приходилось видеть NN. Говорили, что он обещал властям выдать несколько человек, если ему дано будет помилование, и что ему подали надежду на избавление от казни..

Не все, конечно, отдаются так всецело во власть безграничных иллюзий. Желания многих приговоренных не идут дальше добровольной смерти. Мы уже встречали выше выражение этого настроения: «Умереть, когда захочу сам». И в то время, как обыкновенное население тюрем стремится всеми мерами добыть с воли водку, табак или карты, смертники со всевозможными ухищрениями добывают яд или нож.

Газеты отмечают то и дело случаи самоубийства перед казнью. Больше всего прибегают осужденные к цианистому калию, реже к морфию или ножу. «Любопытно, — пишет автор наших материалов, — что ни один из присужденных при попытках к самоубийству не прибегал к помощи шнура или веревки, хотя достать их гораздо легче». Газеты отмечали случаи самоповешения, но действительно они реже других способов самоубийства. Смерть от руки палача кажется позорнее и страшнее. Приговоренные пре-

жде всего предпочитают добровольную смерть, «когда сам захочу», и если можно, то она должна быть другая, не та, которую назначит им человеческий суд.

.....

В течение того года, к которому относятся наблюдения нашего корреспондента, один из приговоренных отравился стрихнином и кончил жизнь в страшных мучениях. Другой нанес себе удар ножом в сердце. В третьем случае удар ножа не оказался смертельным, четвертый вскрыл себе рану на руке обломком стекла: он тоже остался жив. Было также несколько случаев неудачного самоотравления...

.....

Эти попытки и самоубийства происходят на глазах у остального населения камеры. «Смерть товарища Я-ва, — говорится в одном из писем, — произвела на меня ужасное впечатление. Громадная сила воли, потрясающая картина геройской смерти. Перед смертью он был весел, курил, разговаривал, смеялся. Волнения не было заметно. Потом нащупал сердце, приложил нож одной рукой, а другой ударил: раз, два... Потом сказал: „Вот хорошо! Выньте“. И начал хрипеть, и умер, не издав ни одного громкого стона».

.....

Он оставил записку: «Кончаю жизнь самоубийством. Вы меня приговорили к смерти и, быть может, думаете, что я боюсь вашего приговора, нет! Ваш приговор мне не страшен. Но я не хочу, чтобы надо мной была произведена комедия, которую вы намерены проделать со своим формализмом. Мне грозит смерть. Я знаю и прини-

маю это. Я не хочу ждать смерти, которую вы приведете в исполнение. Я решил помереть раньше. Не думайте, что я такой же трус, как вы».

Для этого мужественного человека смерть, очевидно, явилась последним актом если не прямой борьбы, то хоть полемики с врагами.

Глава V

ПОСЛЕДНИЕ СВИДАНИЯ

Два раза в неделю у тюремных ворот собирается толпа народу и терпеливо ждет, пока откроются двери. Это отцы, матери, братья, сестры, сыновья, дочери и жены заключенных, явившиеся на свидание. Двери наконец открываются. Их пропускают.

Длинная, узкая и грязная комната с одним окном. Во всю длину она перегорожена двумя перегородками: внизу перегородки — деревянные, сплошные, вверху до потолка — из частой проволочной сетки. Между перегородками расстояние в два аршина. На этом расстоянии арестанты и их родные переглядываются и переговариваются через две сетки... Так как говорить приходится всем вместе и общий говор заглушает слова, то через несколько минут «свидальная комната» переполняется шумом и криками.

Каждый старается перекричать других и закинуть другому человеку свое слово за эти перегородки. Комната полна нестройных отчаянных выкрикиваний. Визг женских голосов, судорожно напряженные лица и бесильный, никому не слышный плач под звон кандалов...

Вот старая крестьянка. Она притащилась в город за пятьдесят верст и теперь судорожно вцепилась скрюченными пальцами в проволочную сетку. Она пытается несколько раз что-то выкрикнуть сыну, но ее старческий голос тонет в этом нестройном грохоте, звоне и шуме. Она машет рукой и уже только смотрит старыми заплаканными глазами... А через пять-семь минут свидание прекращается. Всех выгоняют, и за проволочные решетки пускают новые партии арестантов и пришедших к ним с воли. Прежние уходят, унося с собой чувство неудовлетворенности и печали. Хотелось сказать дорогому человеку так много. Не сказал ничего. Казнены уже в России тысячи человек. Приблизительно столько же матерей, и еще столько же отцов, и, может быть, столько же сестер, братьев и жен смотрели через такие решетки на дорогих людей, которым грозила смерть. Если это были простые рабочие или крестьяне, то прощаться с ними, как с умирающими, приходили и другие родственники, каких только допускали. И сколько тяжелого, незабываемого и порой непрощаемого страдания разнесут эти простые люди по предместьям городов и по дальним деревням и селам!

Когда приговор уже состоялся, смертник получает привилегию: с него снимают кандалы и на свидание к нему близких родственников допускают в тюремную контору. И опять по дорогам тянутся телеги, а в них матери и отцы, едущие на последнее свидание. Военное правосудие по большей части совершается стремительно, и, пока старая мать бредет пешком или тащится на заморенной клячонке, — дело часто бывает кончено. Тюремный привратник деловито и бесстрастно, как русский мужик вообще умеет говорить о смерти, сообщает, что сын повешен на рассвете, в то время, когда они тащились в темноте по плохим дорогам. «Недавно, — рассказывает наш корреспондент, — одна из таких матерей подошла к тюрьме и стала просить прощального свидания. Вместо разрешения из тюремной конторы ей вынесли клочок волос — все, что ей

осталось от сына. Перед виселицей сын попросил ножницы, отрезал прядь волос и передал их для матери. Последняя воля его была добросовестно исполнена».

В прошлом году газеты сообщали о случае еще более печальном. Приговоренный к смертной казни в Балашове Шуримов послал к отцу письмо с просьбой приехать попрощаться перед смертью.

«Элементарная гуманность, — говорит сообщивший об этом случае корреспондент, — если о гуманности может быть речь около виселицы, — требовала чего-либо одного: или отказа передать письмо, или разрешения этого последнего свидания. Третьего, казалось, тут быть не может... Но именно это третье, мучительное и безобразное в своей бесчеловечности, и вышло».

Отец, бедный и больной старик, собрав последние гроши, отправился в Саратов, захватив с собой и младшего сына. Прежде всего, конечно, обратился в суд. Здесь ему посоветовали «навести справку» у командующего войсками. На вопрос, жив ли еще его сын, сухо отвечали: не знаем. Старик съездил в Казань, но и тут ему «справки» не дали. Вернулся в Саратов и три-четыре дня обивал разные пороги. Ходил к прокурору, к тюремному попу, в тюремную контору.

Наконец кто-то (добрая душа!) сжалился над тоской и слезами старого отца и сообщил ему, что... сын его уже повешен.

«Этот старик, — заключает корреспондент, — уедет домой, в семью, в круг своих близких, знакомых, друзей... И от него, от множества таких стариков, от всех им близких будут требовать любви к родине, уважения к ее учреждениям, патриотических чувств...»¹

.....

Конечно...

Однако вернемся к нашему «бытовому материалу».

Контора, в которой смертным даются последние свидания с родными, разделена на две неравные части деревянной перегородкой в половину человеческого роста. Смертный вводится за перегородку, дверца за ним закрывается, по обеим сторонам становятся надзиратели. Родственники, пришедшие на свидание, остаются на другой стороне перегородки.

Надзиратели равнодушно слушают разговоры. Человек ко всему привыкает, а они многих приводили уже к этой решетке и к виселице. Их дело смотреть, чтобы смертному не передали чего-нибудь, и главное — ножа или яду, и они смотрят равнодушно и бесстрашно. На человека свежего эти свидания производят неизгладимое впечатление, как все, в чем вопросы жизни и смерти стоят в такой осязательной близости. Нашему корреспонденту пришлось случайно быть в конторе во время последнего свидания с матерью того самого Я-ва, который так мужественно покончил с собой. Это было незадолго до самоубийства. Высокий, с болезненно желтым лицом и лихорадочно блестящими глазами, стоял он у перегородки, за которой были две женщины. Одна, сгорбленная, закутанная в шаль, все время плакала и постоянно вытирала глаза концом шали. Другая не плакала; глаза у нее были воспаленные и сухие. Это была мать. Она не спускала глаз с сына, но слов для него у нее

¹ Из газеты «Киевские вести», 8 марта 1909 г., № 66.

не находилось. Таких слов, которые бы тронули, смягчили, утешили, которые просто были бы у места.

— Ну, как же ты теперь? — все-таки спрашивала она тоскливо. — Как здоровье?..

— Что здоровье? Повесят скоро, — хрипло ответил сын и попробовал засмеяться. Но смех не вышел и резко оборвался. Опять молчание.

— Сны страшные видишь? — опять спрашивает старуха.

— Да, разное снится, — ответил он задумчиво и потом сказал легче и проще: — Там у меня поддевка осталась. Ее нужно бы продать..

Заговорили о поддевке, и оба обрадовались предмету, не имевшему прямого отношения к тому главному, что занимало обоих. Свидание скоро прекратилось. Смертного надзиратели увели в башню, а мать ушла на волю, которая ей была, вероятно, не лучше этой башни. Говорили, что она после казни сына сошла с ума.

.....

«Когда родители приходят на свидание, — говорится в одном из писем, — то хочется все, все им передать. Но этого никак не могу сделать: ничего не выходит. Вот сейчас чувствую, что много наговорил бы им ласкательного, хорошего, успокоил бы их, но в конторе этого сделать не могу, потому что там рядом со мной стоят люди, противные мне. При них я не могу выговорить ни одного ласкового слова. Я чувствую, что надо сказать что-нибудь ласковое, хорошее, но язык не повинуется. Когда идешь на свидание, то думаешь сказать то, другое, но когда придешь, то как будто все позабудешь. Все из головы уйдет. Строишь только на них и слушаешь, что они говорят, а сам ни слова».

.....

«Жду приезда своих, — говорит другой приговоренный, — они прислали мне десять рублей, но я отдал их жене. Вот человек, слепо преданный и любящий! Мне положительно стыдно перед ней. Но сказать ей, втолковать, поднять до себя у меня нет возможности. А так тяжело! Говорим мы на разных языках».

Человек, написавший эти строки, приписывает это тяжкое отчуждение от близких людей разности умственных уровней. Но едва ли это верно. «На разных языках» говорят, по-видимому, все обреченные с теми, кто остается после них на этом свете. Человеческий язык не приспособлен для таких разговоров. Обычные понятия робко смолкают в сознании своей ненужности, неуместности, оскорбительности. Что, в самом деле, значит вопрос о здоровье для человека, которого скоро повесят... И сны ему, конечно, видятся всякие... Разговоров о будущем мире, о боге и вечной жизни наш корреспондент тоже не приводит. Об этом, наряду с другими «формальностями», перед виселицей скажет ему тюремный священник, который за это получает казенное жалование...

И, конечно, рад бы был получать его за что-нибудь другое...

Глава VI

«АВТОБИОГРАФИЯ»

Смертники пишут, если только есть возможность, довольно охотно. Это один из способов скоротать страшные часы ожидания и, кроме того, оглянуться, обращаясь к сочувственному слушателю, на себя и свою уходящую жизнь. В случаях, когда рукой пишущего продолжает водить одушевление идеей, за которую человек сознательно отдал свою жизнь, — такие письма отливаются в формы, изумляющие и трогаящие даже противников. Русская печать в последние годы нередко имела случаи оглашать на своих столбцах такие обращения мертвых к живым, и эти голоса из могилы чи-

тались в самых глухих и прозаических закоулках жизни, заставляя забывать о противоречиях и несогласиях и напоминая только о душевной силе, побеждающей и освящающей ужас смерти.

В этих «бытовых» очерках мы имеем дело не с такими освещенными вершинами. Наш материал именно бытовой, обыденный, прозаический. Авторы не выдающиеся люди, письма их не согреты одушевлением какой-нибудь веры. Это скорее печальные сумерки мысли и гражданского сознания. Но и здесь условия, в которых рождаются эти предсмертные излияния обреченных людей, налагают на них печать серьезности, придают им особое печальное значение. Пишутся они без всякой задней мысли, как бог на душу положит, даже без надежды, что письмо проникнет дальше тесного круга родных или соседней тюремной камеры. Близость смерти делает людей искренними и серьезными. Тому, что говорится в таких условиях, приходится верить.

В нашем распоряжении есть целая автобиография такого заурядного человека, приговоренного к смерти и теперь, вероятно, уже казненного. Мы приводим ее здесь целиком в том виде, как она списана нашим корреспондентом.

• «Вы спрашиваете о детстве. Да, о нем я вспоминаю отчасти
 • с хорошей стороны, отчасти с сожалением. Родился я и вырос
 • в очень богатой аристократической семье. Все детство было
 • сплошным удовольствием. Был окружен няньками, репетиторами.
 • Зимой жил в городе, летом — в прекрасном имении. Имел
 • ружье, лошадь, вообще все, что можно дать мальчику моего
 • возраста. Потом началось учение. Учился в трех гимназиях, года
 • полтора в кадетском корпусе на казенный счет благодаря за-
 • слугам отца перед отечеством и престолом. Нигде не кончил
 • и сделался в конце концов оболтусом. Мать по-своему любила
 • меня. Отца я помню мало. Он через несколько лет после турец-
 • кой кампании скончался. Нас было четверо братьев и одна се-
 • стра. Должен вам сказать, что, несмотря на имеющиеся в нашей

• семье большие средства, ни один из братьев нигде не окончил.
• Вырастая, каждый стал отделяться от семьи и кое-как устраивать-
• ся. Один из братьев отравился лет восемнадцати от безнадежной
• любви. Другой женился девятнадцати лет на горбатой девушке,
• дочери крестьянина, чем, по мнению матери, осрамил всю фа-
• милию. Служит он теперь обер-кондуктором на юго-западных
• железных дорогах. Третий женился на артистке провинциального
• театра и, сколько я помню, всегда был на полицейской службе.
• Теперь он где-то служит приставом или помощником полиц-
• майстера. Помню я, что он был несколько раз под судом за рас-
• трату и дебоширство, но, благодаря протекции, всегда выходил
• сухим из воды. Четвертый я, ваш покорнейший слуга, мерзавец
• порядочный, в особенности по отношению к женщинам. Был,
• впрочем, таковым только до ознакомления с политикой. Вот эта
• самая штука, „политика“, захватила меня целиком. У меня яви-
• лась жажда к учению, и я, хотя и бестолково, начал читать все,
• что попадалось под руку. Не забудьте, что до этого ничего, кроме
• бульварных романов, не читал. В детстве у меня проявлялся, хотя
• бессознательно, какой-то вольный дух, из-за чего у меня выхо-
• дили со своими крупные ссоры. Летом крестьянам разрешалось
• собирать в нашем лесу грибы, но только тем, которые за это вы-
• ходили на работу. Таким выдавались билетки, а остальным не
• разрешалось. Не выходили на работу, по-видимому, потому, что
• было невыгодно. И вот на таких-то и делались облавы, причем
• собранные грибы, конечно, отбирались. Меня это возмущало,
• и я отдавал грибы обратно, а с братьями по этому поводу всту-
• пал в драку. Как ни старались втолковать мне, я все-таки стоял
• на своем. Когда из-за этого произошла крупная ссора, я написал
• записку приблизительно такого содержания: „Когда будете читать
• эту записку, меня уже не будет в живых. Умираю потому, что не
• позволяют возвращать крестьянам грибы“. Затем я взял револь-
• вер, оставил эту записку на столе и ушел с сознанием, что ровно
• себе ничего не сделаю. Тут же за мной была погоня. Я не успел
• добежать до лесу и был пойман. Но с тех пор прекратились обла-

вы на крестьян, и я торжествовал. Этот случай является одним из приятных воспоминаний. Старших — матери, теток и дядей — мы все, дети, избегали и старались поскорее скрыться из глаз, несмотря на то, что я ни разу не был наказан ими. Нас выводили, как дрессированных щенят, к столу. Говорили мы заученные французские фразы, целовали руку матери, пили чай и удалялись. То же самое проделывали мы, когда были гости. От такого воспитания ничего хорошего для нас не получилось. Меня, да, вероятно, и других братьев, ничто не тянуло к родному углу. Мать и другие родственники — по-настоящему чужие для меня люди, и у меня нет к ним любви. Если бы даже была у меня возможность поговорить по душе и приласкаться, то я отказался бы: не даст она мне той ласки, которая мне нужна, да и не займет она меня. Я с ними никогда не ссорился. Письма с поздравлениями писал аккуратно, так как знал, что это для них важно. Никогда я не обращался к ним с просьбами. Всегда им писал, что здоров, живу хорошо, хотя на самом деле мне и приходилось сидеть без еды дня по два и по три. Почему я не обращался — не отдаю (себе) отчета. Я не сказал о сестре. Она кончила в Киеве гимназию, вышла замуж за доктора, но не по любви, а потому, что муж представлялся ей выгодной партией. С супругом, сыном и матерью она и теперь живет в N. Муж ее уже профессор, имеет громадные связи и, безусловно, мог бы сделать для меня очень многое. За два года тюремного заключения я ни разу не писал им. Не писал потому, что не знал их взглядов, и думаю, что их скомпрометирую. Теперь мне хотелось бы послать им письмо, но то, что хотелось бы написать, — нельзя, а писать так — не стоит. Да думаю, что на меня и на брата-кондуктора смотрят как на нравственных уродов. Но теперь ввиду смерти мне хотелось бы знать, пожелают ли они хлопотать за меня. Если да — то я отложил бы свою смерть. Повторяю: одна мысль безотвязная мучает меня: умру ли тогда, когда захочу того сам...

Но я уклонился от рассказа о своей жизни. Лет пятнадцати-шестнадцати я, после долгих пререканий с матерью, добился со-

- гласия на отъезд, получил рублей триста денег и укатил в Одессу.
-
- Моя мечта была поступить на море. Через несколько месяцев я
- добился своего и поступил на пароход „Платон“ Российского
- Общества и совершал поездки до Батума и обратно. Прослужил
- я в качестве ученика около двух лет, затем заболел, пролежал ме-
- сяца четыре в больнице и потом вышел. Под руководством од-
- ной особы, довольно опытной, вскоре после этого занялся тор-
- говлей. Три года с лишком родные не знали, где я и что со мной.
- Я наконец написал. За мной приехала жена брата (которого из
- братьев — автор письма не сообщает) и уговорила уехать обрат-
- но. Возвратившись в Киев, я познакомился с институткой, очень
- хорошенькой, закрутил с ней любовь, и в результате — роды.
- Я хотел было жениться, но родные увезли ее и выдали замуж,
- как я это узнал потом...».
-

Так началась и так шла эта странная сумеречная жизнь в такой же странной сумеречной семье, выделяющей в одну сторону типичного полицейского-взяточника и преступника, пользующегося протекцией, чтобы избегнуть суда, в другую — кандидата на виселицу. Все здесь как будто на своем месте, все формально прилично: семья собирается за чайным столом, дети подходят к ручке и говорят заученные фразы. Но все так глубоко чужды друг другу, что даже в минуту смертельной опасности, перед возможностью казни (и притом, как увидим, казни по ошибке) у человека, написавшего эту удивительную автобиографию, нет решимости пробить брешь в ужасающем семейном отчуждении. Здесь нет ни слова о взаимной любви, ни слова о религии, ни слова об общем боге... Ниоткуда также не проникло еще сюда и отрицание религии или семьи. Ее никто не отрицал. Ее просто не было. В таком состоянии, уже взрослым, уже отцом, но все еще бродягой, не членом общества автор встречается с «политикой».

«Политику, — говорит он, — я сначала считал простыми переговорами одного государства с другим, но к политическим преступникам питал вообще глубокое уважение и считал их чуть ли не сверхчеловеками...»

.....

Как могли явиться политические преступники при условии, что политика — только переговоры одного государства с другим, автор не объясняет, и это, конечно, тоже характерно для того умственного хаоса, в каком бродит гражданская мысль даже сравнительно «культурного» русского человека. Совершенно понятно, что разобраться в многообразном брожении политических идей при таких условиях нет никакой возможности. «Политика» тут обращается в простое «отрицание существующего строя», и беззащитный ум влечется туда, где это отрицание последовательнее и проще.

.....

«В первый раз, — пишет автор, — я был арестован в Киеве, когда жандармский ротмистр изнасиловал в петербургской крепости политическую, кажется, И-ую¹. Студенты в Киеве решили отслужить по сгубленной панихиду, но им было в этом отказано. Студенты все-таки

¹ Автор имеет, очевидно, в виду громкую и памятную историю в девятых годах, когда молодая девушка, курсистка, заключенная в крепости, облила себя керосином и зажгла на себе платье. В городе много говорили о причинах этой смерти, и во всяком правовом государстве невозможно было бы оставить мрачную загадку без всестороннего освещения. Самодержавное правительство того времени предпочло заглушить ее, сделав таким образом тайну какого-то служебного преступления своим общегосударственным делом. Волнения молодежи по этому поводу обошли все высшие заведения России. Фамилия покойной девушки была, если не ошибаюсь, Ветрова.

собрались, человек триста. Был тут и я. Нас всех переписали, но тут же и выпустили. Мы собрались вновь, опять были переписаны и посажены по тюрьмам. Через четыре месяца выслали на один год из Киева».

После этого молодой человек поступил счетоводом на Юго-Западную железную дорогу, где его дядя служил инженером. Устроился сносно, но местность была лихорадочная, и он заболел. Пришлось уехать в Самару, где ему удалось поступить конторщиком на железную дорогу. Конторщик он был, вероятно, самый обыкновенный, и едва ли за ним последовала даже репутация неблагонадежного. Таких маленьких протестов тогда было очень много. Но если бы вскрыть в это время душу этого обыкновенного самарского конторщика, то в ней можно было бы обнаружить представление о государстве как об учреждении, под покровом которого совершаются гнусные насилия в глухих казематах над беззащитными девушками. Оно покрывает эти насилия и наказывает за выражение негодования. С такой психологической подготовкой он знакомится в Самаре с фельдшерицами-ученицами, к которым ходили неблагонадежные лица. «Тут-то я и стал познавать всю премудрость».

Какую именно «премудрость», автор не объясняет, считая это понятным...

«Вот моя жизнь — так заканчивает он свое жизнеописание. — За что я иду на виселицу? Скоро наступит смерть, и я даю вам слово, что не только в этой, но и ни в какой экспроприации я никогда не участвовал. Да, вероятно, я и не способен убить кого бы то ни было. По натуре я очень мягок и добр до идиотства, так что буквально не способен на такие дела. В этом же деле,

за которое меня приговорили к смерти, я виноват только в том, что не донес. Да я и не знал точно, как они хотят обработать это дело. Да если бы и знал, то мои убеждения не позволили бы мне сделать донос. На суде мне пришлось удивиться существованию мелких улик против меня. Теперь я говорю вполне искренне: в данном случае простое совпадение. Ну да черт с ними! Не хочется об этом и толковать. Добавляю, впрочем, интересный факт: суд признал меня виновным только в подстрекательстве и все-таки дал мне виселицу...».

.....

Если припомнить, что это письмо из одного каземата в другой, в расчете на тайную передачу помимо начальства, что это простая исповедь приговоренного перед временным товарищем по тюрьме, — то страшная правдивость его станет вне всяких сомнений. В одном из цитированных выше писем мы видели, как приговоренный к смертной казни обругал суд не за себя (себя он признавал виновным в том, что ему приписывали), а за то, что вместе с ним был приговорен невинный... Очень вероятно, что этот протест вызван приговором именно над этим юношей.

.....

Теперь, когда из тюремных камер эта автобиография выбралась на волю, вопрос об этой жизни давно, конечно, решен. Как? Этого мы сказать не можем. Более чем вероятно, что «правосудие сделало свое дело».

.....

И того, кто писал эти строки, и другого, который один только, звеня кандалами, по-своему за него заступился (за что вдобавок к смертной казни попал еще в карцер), уже, надо думать, нет на

свете. Сумеречная жизнь закончилась среди сумеречного правосудия, не дающего себе труда отличить виновных от невиновных. Едва ли последние минуты этой жизни осветились вспышкой какой-нибудь веры. «Черт с ними!» — такова формула, которую, уходя, он кинул на прощание...

Но те, кто его судил, вели на казнь и напутствовали предсмертными поучениями, как будто во что-то верят сами и требуют веры от других. Думают ли они о том, какой ужасный иск этот сумеречный и неверующий юноша мог бы представить против «существующего строя» в той признаваемой ими инстанции, которая должна быть выше всякого земного суда?

Глава VII

ЭКСПРОПРИАТОРЫ

В сентябре 1909 года в киевском окружном суде (с присяжными заседателями) разбиралось дело эстонского журналиста Экарта (Энделя) Хорна. Ранее он был приговорен к каторжным работам за политическое преступление, совершенное в Прибалтийском крае, где, как известно, революционное движение было особенно интенсивно и местами действительно принимало характер массовой борьбы. В киевской Лукьяновской тюрьме, где он отбывал наказание, в соседней с ним камере содержалась смертница, Матрена Присяжнюк, бывшая сельская учительница. В августе 1908 года она была приговорена киевским военно-окружным судом к смертной казни. Двенадцатого сентября приговор был утвержден, но исполнение почему-то затянулось. Перед казнью Матрену Присяжнюк перевели в камеру рядом с Хорном. Он слышал ее шаги и звон кандалов. Ночью светила луна. Через стену было слышно, как приговоренная, звеня кандалами, подошла к своему окну. Два товарища, осужденные вместе с нею, уже раздобылись ядом. Хорн

вскрыл замазанное глиной отверстие в стенке и передал девушке цианистый калий в носике чайника. Она приняла яд, и Хорн до конца разговаривал с нею, утешал ее. В письмах к невесте, сидевшей в той же тюрьме, он описал последние минуты Матрены Присяжнюк (кружковая кличка ее была Рая). Письмо странно и не вполне связно. Видно, что писал человек, потрясенный до глубины души. О себе он иной раз говорит в женском роде, о своей невесте и Рае — в мужском.

• «Я ждал вечера. Какой это был длинный, мучительный день...
 • Когда все у нас ложились спать, я открыл ножиком замазанное
 • глиной отверстие... Через несколько минут я увидел свет из ее
 • камеры... Открывается отверстие, и она называет меня по имени.
 • О боже! Я должен был передать ей... Я чувствовал, как она сняла
 • с палочки мое послание... Затем передал ей два письма. Все вре-
 • мя с жадностью смотрел я в отверстие. Она читала. В это время
 • спрашивает Степа из каземата, чтобы спросить у Раи, когда она
 • думает принять, чтобы уйти вместе... Какая любовь! Они люби-
 • ли ее... Звон кандалов. Значит, прочитала...» «Милый, я долго
 • говорил с нею, я дополнил словами письмецо. Наконец, я просил
 • ее немного отступить от отверстия, чтобы я мог ее увидеть. И я
 • увидел ее красивое, чистое личико. Какой я был счастливец! Она
 • смотрела на меня и смеялась тихо, тихо... „Эндель, ты слышишь,
 • я смеюсь?“ — „Да, Раичка, слышу... Что с тобою?..“ — „Мне
 • смешно, что мы здесь увидимся, что мы сумеем еще говорить...“
 • Затем она спросила: что с тобою? Где Анатолий, где „земляк“?..
 • „Передай моей Надюшке мои приветы и поцелуй“. Здесь она
 • уходит. Через некоторое время опять подходит. Степа спраши-
 • вает: „Когда?“ „Сегодня, после смены, — ответила она. — Дей-
 • ствует ли калий?“ — „Да, дорогая. Больше ничего не могу тебе
 • дать!“ Здесь я страшно волновался. Передать из рук в руки другу,
 • которую так любишь, смерть, когда так хочется жить. Это ужас-
 • но... „Не волнуйся, Эндель“, — ответила она.

• Я молчал, а она говорила что-то. Наконец она спрашивает,
• каким образом принять. „Разотри в порошок. Можно немного
• воды“. — „Хорошо, я возьму так“. Она ушла.

• После смены стук в стенку — я подошел. „Сейчас приму,
• Эндель, я без воды. Что парни?“ — спрашивает она. „Кажется,
• уже“. — „Прощай“. — „Прощай, дорогая“. Я слышал шорох пла-
• тья, звон кандалов. Затем тишина. „Раичка, приняла?“ — „Уже,
• прощай“. — „Прощай, дорогая...“ Несколько секунд была глу-
• бокая тишина. Затем она сильно задышала. Вздохи... Опять сла-
• бое дыхание... наконец сильные вздохи... тишина. Тише, человек
• умер... не стало дорогой Раички. Тише, человек умер, но жизнь
• идет своим чередом... Я говорил с нею, я слышал все, был с нею
• до последней минуты. Все это навсегда запечатлелось в моей
• душе... Нет Раи, говорите вы... неправда! Я говорю — она есть
• и теперь со мною, со всеми нами, которые любили ее. Мы будем
• жить ею. Через некоторое время послышались стуки в стенку, но
• отвечать было незачем. То пришли тюремщики»¹.

Это письмо попало из тюрьмы на волю, ходило по рукам и спу-
стя полгода было взято при обыске у некоего Кинсбургского. Оно
послужило основанием для возбуждения против Хорна нового дела
«о пособничестве самоубийству», которое разбиралось 10 сентября
1909 года киевским окружным судом. Почему оно было направле-
но в порядке общей подсудности, с присяжными и даже при от-
крытых дверях, — сказать трудно. Если правительство рассчитыва-
ло показать обществу «чудовищ», которых военные суды келейно
приговаривают к смертной казни, то расчет оказался ошибочным.
«Медленно и страшно, — говорит автор судебного отчета, — при-
поднялась завеса над одним из ужасов жизни. Наступающие су-
мерки, сухое и отчетливое чтение письма среди мертвой тишины

¹ Письмо это (с некоторыми сокращениями) я заимствую из судебного отчета, напечатанного в местной газете «Киевские вести» (11 сент. 1900 г., № 242).

производило глубокое впечатление». В коротком последнем слове Хорн, признавая факт, отрицал вину. «Она приговорена была к смертной казни, приговор был утвержден, и я помог дорогому товарищу освободиться от нее. Я ничего безнравственного не совершил». Дальше он не мог говорить от волнения и сел... Присяжные удалились в совещательную комнату только на одну минуту. Приговор был оправдательный.

В значении его едва ли можно ошибиться. Присяжные — это люди из того самого общества, которое правительство защищает от экспроприаторских налетов посредством военных судов и смертных казней. Хори — революционер, анархист, стоявший очень близко к экспроприаторским кругам... И тем не менее во всем эпизоде нет ни одной черты, которая бы говорила о «кровожадной свирепости» или «глубокой испорченности», неволью возникающих в воображении в связи с таким отвратительным явлением, как экспроприация, вдобавок еще частная. Для присяжных она осталась в тумане. Перед ними и перед обществом встал только образ интеллигентной девушки довольно распространенного в России типа, со знакомой издавна психологией прямолинейной готовности на борьбу и жертву. А обстановка этой смерти дала картину такого нечеловеческого страдания и атмосферу такого взаимного сочувствия, что присяжные, как мы видели, даже не колебались. Их приговор явился непосредственным откликом общественной совести. Несомненно, что Хорн помог жертве правосудия ускользнуть от виселицы. Он содействовал самоубийству... Да, но для того, чтобы устранить казнь. И присяжные, люди среднего русского типа, сказали: невиновен. Не знаю, конечно, вспоминали ли они знаменательное признание гр. Витте относительно «отсталого строя». Можно думать, что и без гр. Витте у среднего русского человека, поставляющего контингент присяжных заседателей, есть представление о связи явлений, которая в последнее время становится особенно ясной. И если даже в миазмах экспроприаторской эпидемии перед удив-

ленным взглядом такого среднего русского обывателя встают черты душевной красоты и чувствуется психология самоотвержения, то тут есть повод задуматься о причинах этого угара.. Общественная совесть не мирится, конечно, с экспроприациями. Но она не может примириться и с прямолинейным решением трудного вопроса посредством нерассуждающей «упрощенной» процедуры, в конце которой веревка и виселица..

.....

Временная связь между экспроприациями и традициями политических партий, проявленная в бурном периоде движения, не могла удержаться долго. Она была вызвана неверной оценкой данного момента.

.....

По существу, как длительная тактика борьбы, она противна психологии революционных партий. Антагонизм проявился сразу и с тех пор только усиливался. Случайные идейно-революционные элементы уходили из отравляющей душу полосы, экспроприация все больше приближалась к простому разбою, иногда в самых отвратительных и жестоких формах. Но для правительства и для вульгарной «благонамеренности» вообще выгодно смешивать эти явления. Репрессии против всех оппозиционных партий оправдываются существованием экспроприации. Борьба мнений, партийное самоопределение, партийные споры и сталкивающиеся внутри оппозиций программы составляют в глазах всякого политически просвещенного правительства элемент социальной рефлексии, которая уже сама по себе ослабляет дикую страстность борьбы, обращая ее от непосредственных импульсов в сферу мысли, колебаний, сомнений, изучений. Свобода мнений выставляет самые крайние из них под свежие веяния критики. Наша власть продолжает считать своим успехом и признаком своей силы то обстоятельство, что

ей удалось загнать работу оппозиционной мысли и воли в душевные подполья, оставив на поверхности жизни одно только властное предписание, один только голос «организованного беспорядка» и стихийную анархию об руку с разбоем...

В этом правительстве достигнуто значительных внешних успехов. Одного только оно устранить не в силах — это общего, можно сказать, всенародного сознания, что так дальше жить нельзя. Сознание это властно царит над современной психологией. А так как самостоятельные попытки творческой мысли и деятельной борьбы общества за лучшее будущее всюду подавлены, то остается непоколебленным одно это голое отрицание. А это и есть психология анархии. Ни уважения к «отсталому строю», раз уже признавшему всенародно свою несостоятельность, ни самоуважения, как к членам организующегося по-новому общества... Вы говорите о каких-то возможных еще приемах легальной или хоть не вполне легальной партийной борьбы. Где они? Вот. Только эти люди еще борются при всяких условиях. Итак, долой социальную рефлексию, долой всякую организацию, всякие положительные программы и принципы! Мы принимаем только ясное, простое, очевидное: неорганизованное, не связанное никакими ограничениями выступление анархической личности. Насилие индивидуальное — на насилие легализованное, тайное убийство — против казни по упрощенному суду или совсем без суда, грабеж — против разорения «административным порядком», личная кровавая месть — против истязаний в участковом застенке, партизанская анархия — против того, что цензор Никитенко назвал так метко «организованным беспорядком». Общий фон — глубочайшее презрение уже не только к одной стороне жизни, а ко всей жизни: к правительству, к обществу, к себе и к другим. Мы видели, как один из смертников прощался со всем этим краткой формулой: черт с ними!

Этому процессу нельзя отказать в последовательности. Он последователен, как любая болезнь в организме, пораженном мараз-

мом застоя, как воспаление там, где есть невынутая заноза, как заражение крови...

Среди материалов, сообщенных нашим корреспондентом, есть одно письмо, поразительное по цельности и интенсивности стихийно анархистского настроения.

«Вы спрашиваете, к чему я стремился? И действительно — к чему? Я не могу объяснить. Я не нахожу тех слов, которыми мог бы все это объяснить. Но я вижу и чувствую, что не то в жизни, что должно бы быть. А как должно быть по-настоящему, я не знаю или, пожалуй, знаю, но не умею рассказать. Когда я был на воле, то наблюдал, что люди делают не то, что нужно делать, а совсем другое. Несколько лет назад и я сделал не то, что нужно, а потом махнул рукой на всех и стал делать то, что хочу и что мне нравится».

Себя он характеризует с беспощадной откровенностью:

«Я страшный эгоист и любил только себя во всю свою жизнь. Я одно ясно сознавал: я живу, а раз живу, то для этого нужны деньги (!). Своих денег у меня не было, и я брал, где только они есть. Я не знаю, быть может, это и худо, но я ни на кого не смотрел. Мне нет дела до людей, какого они мнения о моих поступках. Ты и сам знаешь, что я не буду подставлять свою жизнь, а скорее сам отниму. Я всегда старался угнетать слабых и брать у них все, что мне надо. Если бы понадобилась их жизнь, я отобрал бы ее, но в жизни других я не нуждался. Ты не думай, что под слабыми я разумею бедных людей. Нет. У нас и богач — слабое существо. Я на воле был сильнее богача, но теперь я слаб, у меня отняли все, что я имел, и мне остается умереть».

Правда, среди всего материала, которым я располагаю в настоящее время, это письмо является единственным по своему незна-

дежно-мрачному, беспросветному цинизму. Другие только в большей или меньшей степени к нему примыкают. В них это настроение смягчается по большей части проблесками признания где-то существующей, но недоступной правды и глубокой, за душу хватающей печалью о погибающей жизни.

.....

«Придется умереть, — пишет восемнадцатилетний юноша. — А как хочется жить, если бы ты понял! Страшная жажда жизни. Подумай: мне ведь только восемнадцать лет. А как я прожил эти восемнадцать лет? Разве это была жизнь? Это были сплошные страдания. Ведь у нас семейство семь душ. Работник почти один брат. Я еще какой работник! Обо мне и говорить нечего: много ли я мог заработать? Плохо было жить. Так я жизни и не видел».

.....

«Жизнь прошла бледной, как в тумане, — пишет другой смертник. — Является чувство жалости к прожитому. Почему я был так темен и не знал другой жизни? Почему я не учился?.. Жалеешь, почему так поздно узнал то, что узнал теперь. Почему жизнь была так пуста? Что меня занимало? Какая-то ерунда, за которую теперь стыдно».

«Впрочем, — заканчивает он безнадежно, — успокаивает мысль, что рано или поздно, но не избежать бы мне этого. Если бы и выбрался я на волю, то пришлось бы жить нелегально. Это легко только тому, кто не испытал этого. Пришлось бы заниматься тем же. Значит, я опять явился бы кандидатом на виселицу».

«Все хорошее, — пишет третий, — заслонялось дурным, и я видел только зло во всю свою хотя и короткую жизнь. Видел, как другие мучаются, и сам с ними мучился. При таких обстоятельствах

и при такой жизни можно ли любить что-нибудь, хотя бы и хорошее? Прежде я работал на заводе, и мне это нравилось. Потом я понял, что работаю на богача, и бросил работу. С вооруженного восстания стал грабить с такими же товарищами, как я».

.....

«Да и стоит ли выходить на волю? — спрашивает четвертый. — Нашел ли бы я там людей, с которыми стоило бы жить? Я знаю, что где-нибудь есть хорошие, честные люди, но я их не найду, а сойду с какими-нибудь негодями. Пожалуй, и не стоит выходить на волю и жить так, как я жил раньше. Лучше уже умереть, чем сплошная мука».

.....

Порой встречаются попытки реабилитации и оправдания экспроприаторской «деятельности». «Я напишу вам о том, что меня мучает в данную минуту, — пишет один из экспроприаторов-смертников политическому заключенному. — Я знаю, что большинство людей считают меня, как и других экспроприаторов, простым вором. Но я не для себя грабил, а помогал тому, у кого ничего не было. Об этом знают многие. Я делал это не от лица какой-нибудь партии, а от себя лично, и мне так обидно, когда обо мне говорят так. Когда я прежде сидел в общей камере с уголовными, то все говорили, что экспроприаторы грабят только для себя. Я спрашиваю вас: неужели те, которые сидят с вами в одной камере (речь, очевидно, идет о политических), думают так же, как уголовные? Я говорил прежде уголовным, что есть люди, которые берут не для себя, а для других. Лично о себе я ничего не говорил, но мне всегда было так горько при таких отзывах об экспроприаторах».

Но общий уровень экспроприаторской среды падает гораздо ниже и этих наивных попыток своеобразной идеологии. «Я грабил

с такими же экспроприаторами, как и я, — печально признается еще один автор, — но и тут подлость: товарищ у товарища ворует. Я участвовал во многих грабежах, но редко проходило без подлости. Разве это не обидно? Ведь свой у своего берет? А снаружи все хорошие люди. И как жить после этого?»

Читатель, вероятно, заметил горькую, хотя, может быть, и незаметную иронию этих заключительных слов. О том, чтобы найти правду в обычных условиях общества, этот погибающий юноша уже и не говорит. Остались еще, по-видимому, немногие хорошие люди. Это экспроприаторы, которые одни дерзают активно восставать против торжествующей несправедливости. Но и они хороши только «снаружи», по своему, так сказать, «почетному званию». Как жить после того, когда даже среди них настоящей правды не оказывается!..

Глава VIII

«ПРИГОВОР УТВЕРЖДЕН»

Этим исчерпывается автобиографический, так сказать, материал, доставленный самими смертниками нашему корреспонденту.

Эти интимнейшие, откровенные и совершенно бескорыстные признания-исповеди разными способами, но почти всегда неофициально пробирались из камеры смертников в другие тюремные камеры к людям, которые не имели ни малейшей возможности повлиять на участь приговоренных. В каждой строчке звучит поэтому одна предсмертная правда. Многие авторы писем откровенно говорят о том, что для них при данных условиях нет уже никакого исхода, и сомневаются, стоит ли им даже мечтать о жизни. И тем не менее только в одном (первом) письме можно, пожалуй, увидеть признаки настоящего цинизма и нераскаянности. Во всех остальных сквозят горькое раздумье и тоска по какой-то другой жизни,

по какой-то труднодоступной правде. Можно ли, положа руку на сердце, сказать, что для тех, кто писал эти исповеди, не может быть места среди людей и что рука, утверждавшая эти приговоры, удаляла из жизни извергов, недоступных ни раскаянию, ни исправлению?

А ведь все это писано по большей части профессиональными экспроприаторами, дышавшими разьедающей атмосферой вульгарно-анархической психологии. Таково ли, однако, большинство жертв военной юстиции? Экспроприаторство — это эпидемия. Нередко она захватывает людей просто среднего типа, не думавших за месяц до преступления, что они могут в нем участвовать, и просыпающихся от закрутившего их вихря, точно после тяжелого сна. В газетах появлялись не раз письма смертников к родным, ярко выражавшие это пробуждение от кошмара, проникнутые страстным чувством раскаяния.

Вот несколько примеров.

Некто Карамышев служил в экономии Орлова-Давыдова, в Аткарском уезде, Саратовской губернии. Был обыкновенный служащий, нажил на службе увечье и должен был получить за это увечье деньги. Но в промежутке принял участие в нападении на купца, причем никому никаких ран причинено не было. Самый обыкновенный грабеж, окрашенный современным колоритом «экспроприации». Тем не менее он был приговорен к смертной казни. Вот его предсмертное письмо к родителям¹:

- «Дорогие мои родители, папаша и мамаша, и сестрица Феня!
- Пишу я свое любезнейшее письмо к вам со слезами на глазах; извещаю я вас в том, что я присужден к смертной казни через повешение. То прошу, дорогие мои родители, простите меня и все мои преступления перед вами. Перед смертью я исповедывался и причастился, отклонить этого я не мог.

¹ Напечатано в «Сарат. листке» (№ 262). Заимствую его из «Речи», № 2991; год, к сожалению, на моей вырезке не отмечен, кажется, 1908 г.

Прощай, родной ты мой отец, прощай, родная моя мать, прощай, сестрица моя родная, прощайте все мои братья и любезные мои друзья; вы больше меня не увидите, до гроба будете вспоминать. Прошу, дорогие мои родители, отслужите панихиду по мне. Ах, как трудно такой смертью помирать. Сообщите брату моему Ване, что меня уже нет на свете. Дорогие мои папаша и мамаша! Когда писал это письмо, у меня сердце кровью обливалось, слезы катились с моих глаз и капали прямо на стол. Передайте моей жене, чтобы и она отслужила панихиду. Жена моя и братья мои навещали до самой смерти моей. Прошу еще, скажите моим дядям и теткам и также крестной и дедушке, что я уже помер. Передайте смертный мой поклон Федору, Петру, Василию, Мише и всем моим знакомым. Еще прошу, напишите в Баку тетке и брату Василию о том, что меня нет в живых. Папаша и мамаша, если вы получите деньги за увечье, то прошу вас сердечно построить на эти деньги хороший дом, и меня не забывайте. Папаша и мамаша! Не плачьте обо мне, так как у вас осталось еще четыре сына; довольно вам и этих, без меня обойдетесь. Ну, дорогие мои родители, прощайте же еще раз. Прощай, мое село родное, где я родился и провел свою молодость. Прощай, все общество мое. Простите меня, злодея окаянного. Бог, может быть, не оставит меня и простит грехи мои все.

Письмо это я писал перед смертью, рука дрожала, сердце билось. Извините, что так плохо написал, тороплюсь. Прощайте, прощайте. Нет уже меня. Еще раз прощай, жена моя родная, милая моя. Прощайте. Некогда. Меня ждут. Любящий сын ваш Василий Максимов Карамышев».

Читатель видит, что здесь нет и намека на характерную психологию экспроприаторов-анархистов, нет также и тени какой бы то ни было оторванности от среды и ее отрицания. Эта расстающаяся с миром душа — душа крестьянина, крепко связанная с семьей, с обществом, со своим миром.

За экспроприацию в Балашовском уезде Саратовской губернии был приговорен к смертной казни Шуримов. Его отец, слепой старик, проживающий в Цимлянской станице (области Войска Донского), получил от него следующее письмо¹:

• «Здравствуй, дорогой папа! Шлю тебе свой последний прощальный привет и желаю много... много... счастья. Прости, дорогой, что я так долго тебе не писал. Ты подумаешь, что я вконец забыл тебя. О милый папа, не обвиняй меня так жестоко. Все это время нашей разлуки с тобой было сплошное мученье для меня. Я только тем и жил, что думал, настанет время, когда я навсегда соединюсь с тобой, когда я буду в силах преклонить твою седую голову к себе на грудь и залечить душевные раны, что нанес твоему бедному, истерзанному сердцу. Но это время не настало, мечты мои разлетелись, и осталась горькая действительность. Я с 29 мая 1908 года сижу в тюрьме. Двадцать третьего января я был на суде и приговорен к смертной казни. Приговор послан на утверждение командующему войсками, но надежды мало, чтобы смерть заменили каторгой. Мне осталось жить дней тридцать. Если можешь, дорогой папа, то приезжай, тебя допустят увидеть меня. Теперь я сижу на имя Шуримова. Напиши письмо матери и скажи ей, что последняя моя просьба, чтобы она не покидала тебя и успокоила бы твою бедную голову. Поцелуй Пашу и Мишу. Всем родным поклон. Прощай, папа!»

Как и ожидал присужденный, приговор был приведен в исполнение.

Еще более яркие, по покаянному настроению, письма написал восемнадцатилетний юноша, Евгений Мавроффриди, приговоренный к смерти военно-окружным судом в Новочеркасске в декабре 1908 года.

¹ «Киевские вести», № 64, 6 марта 1909 г.

«Здравствуйте, дорогая мамочка.

Я, по воле всевышнего, еще жив, но в будущем не знаю, что со мной будет, приведут ли в исполнение приговор или же нет, но я, дорогая мамочка, чувствую, что я живу последние дни, а может быть, даже и часы, вот уже десятые сутки ожидаю смерти и ночью не сплю и прислушиваюсь, как заяц, к каждому шороху, и как только проходит мимо какой-нибудь надзиратель, так мне все кажется, что это за мною, то есть мне кажется, что легче будет умирать на виселице, нежели ожидать вот так каждую минуту то, что откроется дверь и скажут: выходи! Но, дорогая мамочка, на все его святая воля, я надеюсь на него. Он сам страдал, но он страдал за наши грехи, то есть за грехи всего народа, а я страдаю за то, что не слушал вас, дорогая мамочка, и не молился ему, который умер за наши грехи. Да, дорогая мамочка, грешен я перед богом и перед вами. Каюсь, ну что, теперь, мне, кажется, уже поздно, да, дорогая мамочка, слушался бы я вас, молился бы почаще богу, ничего бы подобного не было; а то я послушал совета товарищей и оставил службу в банке, не бросил бы я служить, не сидел бы я теперь и не ждал бы каждый час смерти, а ожидал бы, как каждый христианин, среди вас, дорогие мои, праздника рождества Христова, ну, на все воля всевышнего. Суждено мне умереть — я умру, если нет — значит, буду жить.

Дорогая мамочка. Смотрите лучше за Колей, вразумляйте его, пусть он молится богу за всех вас, а также пускай помолится за своего грешного брата, может, бог услышит его, а обо мне, дорогая мамочка, забудьте, я недостойн, чтобы из-за меня мучились люди, а тем паче вы, дорогая мамочка, а также Маруся, она вас слушалась, и училась, и молилась за своего грешного брата богу. Мамочка, смотрите за ними, то есть за Колей и Марусей. Скажите им, чтобы они вас слушали, а не подруг и товарищей.

Дорогая бабушка, я знаю, что я вам приношу много горя, так как я горячо вами любим, но вы, дорогая, не обижайтесь на меня, а помолитесь лучше за меня богу. Да, дорогая бабушка, тяжело умирать в таких летах, как я, ведь мне только восемнадцать лет,

- и я должен умирать, ну, раз так хочет бог, то пусть так и будет.
-
- Если господь нас, то есть меня с вами со всеми, дорогие мои,
- разделяет здесь на земле, то он нас соединит там, где дорогой
- мой папа, да, бабушка? Я иду до папы. Вы успокойте мамочку,
- скажите ей, что у нее есть еще Коля и Маруся; я молю бога, что-
- бы она нашла в них себе утешение.
-
- Ну, покамест до свидания, а может быть, прощайте, это бог
- знает. Целую вас всех крепко, поцелуйте за меня тетю Шуру,
- Колю, Марусю и всех остальных. Евгений Маврофриди».

В том же тоне написано и письмо к брату, тому самому Коле, о котором этот юноша несколько раз упоминает в предыдущих письмах. Он просит его не оставлять мать и сестру: «у них одна надежда на тебя. Оправдай все это, береги их, выучи ты Марусю, чтобы из нее вышла порядочная барышня, а не какая-нибудь потаскуха... Не оставляй службы, служи, терпи и боже тебя сохрани послушать совета товарища без совета матери... Дорогой Коля, если мне придется умирать, то я оставлю свой крестик золотой на серебряной цепочке, ты его получишь в тюремной конторе и одень его и носи до конца своей жизни, я тебя прошу ради бога, это будет благословение твоего грешного брата».

В Таганрог, где жили родные Маврофриди, письма пришли с прокурорской пометкой: писаны они 18 декабря. Мы не знаем, что предпринимала несчастная мать, но приговор был утвержден, и 29 декабря 1908 года восемнадцатилетний Маврофриди казнен.

.....

И сколько таких матерей, и сколько отцов, и братьев, и сестер, и бабушек получали в последние годы такие письма. Сколько тут еще косвенного, непоправимого и незабываемого страдания людей уже совершенно невинных.

.....

Слепой старик Шуримов, получивший в Цимлянской станице от своего сына цитированное выше письмо, захотел исполнить его просьбу и отправился в Саратов, чтобы получить прощальное свидание. В первой статье я уже рассказывал об его «хождениях по этому делу». Чтобы добиться простой справки — жив ли еще его сын, или его уже казнили, — ему пришлось путешествовать из Саратова в Казань, и только по возвращении оттуда «справку» наконец дали: сын уже повешен. Что теперь с этим слепым стариком? Жив ли он или не выдержал тяжкого удара и последовал за сыном? Мы не знаем. Это знают, вероятно, в Цимлянской станице. «Были случаи, — говорит сотрудник „Нашей газеты“, описавший мытарства Шуримова-отца, — покушения на самоубийство лиц, близких к казненным: люди не выдерживали ужаса такой потери. Во всех таких случаях общество, несомненно, казнит невинного вместе с виновным»¹.

А вот еще бытовая картинка в современном вкусе, которую господин А. П. нарисовал с натуры в газете «Речь». Автору случилось 3–4 января 1909 года ехать с вечерним поездом из Ставрополя Кавказского. Ехали, как обыкновенно ездят в вагонах третьего класса, и разговоры шли обычные. На первой остановке в то отделение, где помещался автор, вошел мужчина в опрятном костюме, который на Кавказе носит название «хохлацкого» и всегда выдает переселенцев из малорусских губерний. Ничего особенного на первый взгляд в этом переселенце никто из пассажиров не заметил. Фигура тоже бытовая, обычная, и ее тотчас же, по обыкновению, приобщили к обычному вагонному разговору: кто? откуда? куда? по какому делу? торговля? покупка или продажа хлеба, скота, яиц или масла?

Оказалось, что едет он в Таврию и дела у него не торговые... А какие?

— Да так... несчастье маленькое вышло...

¹ «Наша газета», № 53, 5 марта 1909 г.

Что ж. И это дело обычное. «Со всяким человеком случаются несчастья». «Без этого невозможно. Дело житейское».

— Болен кто-нибудь?..

— Никто и не болен... Сына повесили.

Всех поразил спокойный, по-видимому, тон этого ответа. Известие было неожиданное и не совсем обычное. К такому «бытовому явлению» даже наша российская публика еще не совсем притерпелась, как к обычному предмету вагонного разговора... Кое-кто, может быть, сразу и не поверил. Но «спокойный» незнакомец вынул из кармана «документы», и господин А. П. прочитал их. Документов этих было два. Первый гласил:

«Здравствуйте, дорогие родители, дорогие папа и мама и дорогие братья и сестры. Я в настоящее время сижу в одиночке в последнюю минуту повели меня. Нас на казнь пять человек Котеля, Воскоб<ойникова>, Лавронова и Киценка. Вы хорошо знаете кажется кто был я и умру не первый и не последний. Привели меня в темную так называемую одиночку так что я писать не вижу, ни буквы ни линеек, которые находятся на этой бумаге. Дорогие папочка и мамочка и дорогие братики и сестрички читай<те> это письмо, но прошу не плачьте и (не) тратьте своего здоровья и сил и так слабы прошу не плачьте. А гордитесь своим сыном я умираю гордо и смело смотрю смерт<и> в глаза я нисколько не боюсь ее я очень рад что кончено мое мученье меня судили 29 октября, а 22 ноября ночью приблизительно часов у 12 или в час я очень весел, этим я горжусь, что умер не трусом. Это последнее прощальное письмо. Целую вас папу, маму, Васю, Ваню, Катю, Маню, Варю. Прощайте, прощайте Коля Котель».

Другой документ было письмо защитника в чисто деловом тоне.

«Милостивый государь. Сын ваш был осужден судом к смертной казни, причем суд постановил ходатайствовать перед Каульбарсом о замене смертной казни каторгой. Сегодня в тюрьме

случайно узнал о том, что Каульбарс не уважил просьбы и смертный приговор приведен вчера в исполнение. Присяжный поверенный В. Гальков».

Читатель легко представит себе «вагон третьего класса» после оглашения этих документов. Поезд несется по русской равнине, громыхая и лязгая цепями, светя в темноту ночи своими окнами. В одном вагоне третьего класса все притихло. Кто не спит, слушает чтение документов и (теперь уже не совсем спокойные) речи «переселенца» в хохлацком костюме.

— Лучше бы меня повесили, — так передает господин А. П. общее содержание этих речей, — чем его, молодого, в расцвете сил. Добрый был. Ласковый. Никому зла не сделал. Ну, хоть бы в каторгу послали, все-таки был бы жив... Растили... радовались... Мать пропадает от горя, у меня точно сердце из груди вынули... Пусто...¹

В публике слушают, качают головами: «бытовое явление» повернулось необычной стороной: перед глазами этих людей уже не экспроприатор и не революционер, а отец, такой же, как и все эти отцы, у которых тоже есть дети. И они тоже разошлись по белому свету в учение, на заработки, на службу... Кто их знает? Из семьи тоже уходили добрые, любящие, ласковые. Писали письма: «дорогая мамочка и папочка. Посылаю я вам с любовью низкий поклон...» И вдруг вот так же внезапно напишут: «Сижу в одиночке. Через полчаса повесят». А защитник прибавит: «суд ходатайствовал, но Каульбарс не уважил». И мать станет пропадать от горя, у отца вынут сердце. За что? Они ли виноваты, что всюду вне их семьи свирепствует эпидемия «волнений и расстройств», вызванная, между прочим, и тем, что современный строй уже «не удовлетворяет стремлениям общества к правовому порядку...» Почему же

¹ «Речь». — Заимствовано «Нашей газетой» 28 марта 1909 г., «Киевск. вестями» 2 апр. 1909 и др.

за это так тяжело приходится расплачиваться матерям и отцам? Разве «отстала» одна только семья, а не государство?..

И почему генерал Каульбарс казнил Колю Котеля, когда даже суд перед ним ходатайствовал о смягчении его участи? Кто этот генерал, такой строгий и непреклонный? Кто-нибудь даже и в вагоне третьего класса, пожалуй, знает кое-что про этого доблестного генерала. О нем много писали и продолжают писать. Например, генерал-адъютант А. Н. Куропаткин, останавливаясь на причинах наших неудач в минувшую войну, говорит: «Указать хоть на то, что командующий второй армией генерал Каульбарс не исполнил приказаний главнокомандующего, чем много способствовал японцам в обходном движении. Получив войска и приказание наступать, он отступал; вместо того чтобы идти вправо, шел влево и т. п... Военный совет нашел действия генерала Каульбарса неправильными, установил факты неисполнения приказаний главнокомандующего и решил предать генерала Каульбарса... военному суду. Суд, по высочайшей милости, не состоялся»¹.

Неужели это тот самый?.. Да, тот самый. Он пощадил японцев от своей грозной атаки и даже «много способствовал неприятельскому обходному движению». Почему же теперь он так беспощаден к Коле Котелю, его отцу и матери? Самому ему грозил военный суд. Он избег его только благодаря милости... Почему же теперь сам он так немилостив, что отверг даже ходатайство суда?..

А русский поезд все дальше мчится русской степью, унося с собой этот клочок ужасной русской современности «послеконституционного периода»... И на каждой маленькой станции кусочек «бытового явления» отщепляется от громяющего поезда, и какой-нибудь из слушателей «спокойного рассказа» пробирается проселком в село, или в деревню, или в городское предместье, в кре-

¹ «Петербургская газета», заимствовано «Речью» (7 дек. 1909 г. № 336) и почти всеми остальными русскими газетами.